

М.О.Гершензон
СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Образованный англичанин может прожить всю жизнь, ни разу не задумавшись об исторической судьбе своего народа и его назначении. Он знает непосредственным чувством, что его народ живет как целое и что путь его истории непрерывен. А куда ведет этот путь и верен ли он — как узнать? Ведь очевидно, что явления такого размера индивидуальный разум не в силах осмыслить. Лицо живого народа — как огнезарное солнце: оно всем видно, но его нельзя разглядеть. Только остывшим солнцем, мертвые лики Египта, Эллады, Рима мы силимся обозреть в их целостности, да и то без большого успеха.

И все же нет ни одного культурного народа, который не пытался бы время от времени осознать себя разумом своих мыслителей. Из наблюдений над прошлым выводится как бы линейная схема, чертеж: философия национальной истории; и общество жадно ловит эти догадки, потому что они удовлетворяют неискоренимую потребность сознания — свести к умозрительному единству многообразие народных влечений и народной судьбы.

Если этому нетерпению поддаются и благоустроенные народы, то как устоять против искушения в особенности современному еврею? Кто верит, тому не нужны рассудочные надежды: он целостным чувством почерпает утешение и надежду в идее благого Промысла. Когда же вера ослабела в еврействе, на смену ей неизбежно должна была явиться какая-нибудь рационалистическая философия истории. История евреев, во-первых, слишком странна своим разительным несходством с историей прочих народов и, во-вторых, в большей своей части так беспросветно печальна, что зритель невольно останавливается пораженный; мысль настойчиво ищет разгадать последовательность и смысл столь необычайного зрелища. Пред этой загадкой еврейской истории, мы знаем, останавливались и многие нееврейские умы; тем понятнее раздумье еврея. Человек так устроен что своему счастью и покою он не ищет оснований, и принимает их как естественные явления, скорбь же свою он непременно должен возвести к причине, должен доказать себе логическую неизбежность своего страдания. иначе мир предстанет ему как бессмыслица, и он утонет в отчаянии. За что так тяжко наказан еврейский народ рассеянием и гонениями? Была ли в его прошлом какая-нибудь роковая вина, или в его характере такая врожденная особенность, откуда неизбежно развилась чудовищная вереница мучений? Это первый вопрос, естественно предстающий уму, — вопрос понимания. Он уже потому напрашивается, что в отличие от других живых народов еврейство имеет в своем Палестинском прошлом как бы свой собственный застывший лик, подобно тем мертвым лицам Египта, Греции и Рима, — законченный процесс, вызывающий на объяснение. Еще настойчивее второй вопрос, практически-важный. Прошлое народа складывалось стихийно, но будущность его, по крайней мере, ближайшая — неужели мы не можем подчинить ее нашей разумной воле? Будь еще еврейство благоустроено, потребность предвидения была бы не так остра. Но еврейство и сейчас несчастно, разорвано, бездомно; 14 миллионов людей, чувствующих себя одной семьей, разбросаны по 70 странам; народ, имевший свою культуру, внутренне распылен по двадцати инородным культурам; народ, забывший родную речь и говорящий на многих чужих языках, народ-хамелеон, народ — торгаш, оторванный от природы, хиреющий в городах, всюду, если не гонимый, то едва терпимый, — такому народу — где исход? Старая вера не смела спрашивать о будущем, потому что самый этот вопрос есть уже вмешательство в замыслы Бога; напротив, безверие по своей природе обречено предвидеть и направлять. А так как предвидеть можно только из былого опыта, иначе предвидение будет химерой, то вопрос о будущем сводится опять-таки к вопросу о прошлом, и оба вместе могут быть решены только историко-философской гипотезой. Вот почему для современного еврея, утратившего веру отцов, нет искушения сильнее, нежели объяснительный и руководящий национальный миф. И нетрудно видеть, что все умственные движения, возникавшие среди евреев за последние 40—50 лет, были, по существу, ничем другим, как попытками такого мифотворчества. Сами деятели могли и не знать источников своего вдохновения и добросовестно считать свою программу чисто-практической: таковы были, например, ассимиляторы 80-х годов; в действительности, и здесь все доводы черпались из

определенных исторических обобщений, только слабо сознанных и оттого не сведенных в систему.

Было бы в высшей степени любопытно вскрыть основы этих учений, вылущить из оболочек философское ядро каждого и затем составить весь этот ряд гипотез, объединенных как временем их зарождения, так и общностью цели. Я убежден, что внимательное исследование обнаружило бы в них много родственных черт наперекор их видимому несходству. Оно показало бы, что все они совпадают и отрицательно, имея общей исходной точкой безверие, исторический рационализм, и положительно, так как все без исключения представляют лишь копии с различных историко-философских теорий, какие выработала для собственных нужд европейская мысль XIX-го века.

Но я не займусь этим делом. Доктрина ассимиляторов, учения о религиозной или духовно-культурной миссии еврейского народа отжили свой короткий век и больше не привлекают сторонников. И всех победило могучее движение сионизма, нарастающее неудержимо вот уже четверть века и ныне достигшее апогея. Сионизм — уже не только академическая доктрина: он стал движущей силой в сознании сотен тысяч людей, он превратился в идею-чувство, идею-влечение. И если пока он только волнует умы и сердца, если еще не многое переместил в мире, то энтузиазм, возбуждаемый им, — порука, что при благоприятных условиях ему суждено коренным образом повлиять на судьбу еврейства. Не сегодня — завтра падет главная из внешних преград: Палестина будет отдана евреям, — и горсть восторженных мечтателей поднимет с мест и поведет за собою массу, чтобы ее трудом, ее лишениями проделать опыт национального возрождения. Такую ответственность берет на себя только тот, кто непоколебимо знает правду и силу своего замысла. Сионизм пламенно верит в свою мечту — откуда же эта уверенность? — Он черпает ее в своем мировоззрении, в своей философии истории. Его конкретные утверждения целиком выведены как логически обязательное следствие из некоторой общей идеи, и кто хочет понять сионизм, должен искать его смысл не в деловых постановлениях Базельского или Гельсингфорского съезда, а в той историко-философской теории, которая одушевляет его и связывает отдельные части его программы в единство. Между тем как раз эта важнейшая сторона сионизма наименее освещена. С сионизмом случилось то же, что можно наблюдать в истории всякой политической партии: программа совершенно затмила породившую ее идею и тем превратила эту идею в догмат. Об основных положениях сионизма никто не спорит, их только хранят, как золотой запас, и в нужных случаях предъявляют *ad extra*. С тех пор как лет 25 назад они были впервые формулированы, их никто не вздумал пересматривать, ни с целью проверки, ни даже ради обогащения и упрощения. Их повторяют в бесчисленных журнальных статьях, брошюрах, книгах, как непреложные аксиомы, в одном и том же составе, почти в тех же словах. Весь разум сионизма поглощен тактикой, все споры ведутся в границах программы; даже главнейший раскол в сионизме не коснулся его сердцевины, потому что и духовный сионизм Ахад-Гаама не спрашивает, верно ли определена конечная цель: он указывает лишь иной путь к той же цели, какую ставит себе политический сионизм. Это общее согласие столь торжественно, что голос критики может показаться среди него почти кощунством. Если я все же решаюсь высказать свою мысль, то смелость эту я почерпаю в моем уважении к сионизму, в моей уверенности, что не правоту свою любят сионисты, но больше ее дорожат истиной и благом еврейского народа. Мы — как семья на распутье; нашему дому грозит гибель: где выход из роковой тесноты? Вы, сионисты, придумали способ спасения, я же усмотрел ошибку в ваших расчетах, грозящую новой бедой; и так как я член той же семьи, то мое возражение не должно оскорбить вас; у нас одна любовь и одна забота.

Сионизм как историко-философское учение представляет ту особенность, что как раз о прошлом он прямо ничего не изрекает. Его цель — вовсе не осветить историю еврейского народа; его цель — устроить будущее народа, не похожую на его настоящее; поэтому он подробно анализирует современное положение еврейства и выводит отсюда директивы для будущего, а прошлое оставляет в стороне. Из прошлого он отмечает — и то без всякого анализа,—только два-три разрозненных эмпирических факта, которые ему нужны: неистребимость еврейского народа, самосознание своего единства в нем и тысячелетнюю молитву евреев о возвращении в Сион. Но и в суждениях сионизма о настоящем, и в его мечтах о будущей судьбе еврейства ясно выступает его затаенная философия истории.

Сионизм всецело основан на идее национализма. Развитие человечества, по мысли сионистов, совершается исключительно в национальных формах; оно и есть не что иное, как общий итог национальных развитий. Нет другого творчества, кроме творчества национального; нация — единственная подлинная реальность мировой истории. Таков первый, основной догмат сионизма. Но понятие нации многомысленно; как же определяют его сионисты? — Они мыслят нацию на манер растения; их второй догмат гласит: непременным условием национального существования являются единство и своеобразие быта. А так как быт есть результат коллективного приспособления к внешней среде, то, согласно третьему догмату сионизма, единство и своеобразие национального быта немислимы без территориального объединения нации. На этих трех понятиях, спаянных причинной связью, покоится весь сионизм: национальное творчество — быт — территория. Все остальное в сионизме есть лишь применение этой несложной доктрины к судьбе еврейского народа. Сионисты рассуждают так. Еврейство — несомненно единая нация; такую она сознает себя и такую обнаруживается в единстве своих судеб. Оно еще не изжило своих сил, как доказывает даровитость отдельных его сынов в века изгнанничества; между тем, как целое и в массе своей оно почти два тысячелетия остается бесплодным. Почему иссякло это национальное творчество? Только потому, что еврейство не живет нормальной национальной жизнью. Нормальная же национальная жизнь есть та, когда быт органически вырастает из недр народного духа. С тех пор как евреи рассеялись по земле, они вовсе не имеют своего быта. Законы, которым подчиняется народ, должны быть изъявлением его собственной воли: свреи, живя среди чужих им народов, всюду повинуются чужим законам. У них нет своего национального хозяйства — их экономическая жизнь определяется нуждами и вкусами народов, среди которых они живут. Они утратили свой язык, они с каждым днем растеривают последние остатки своего национального своеобразия: свою религию и культ, общинную организацию, систему воспитания; они питаются чужими литературами, подражают чужим модам, усваивают чужой образ жизни. Еврейство как нация обезличивается до конца. Против этого обезличения есть только одно средство: надо хоть часть евреев собрать в пучок и прижать этот пучок к земле и держать прижатым до тех пор, пока он пустит корни в землю; тогда через корни станут подниматься из почвы живые соки, ствол оживет, опять расцветет в еврействе национальный быт, а из него родится и плод — национальное творчество. И хотя еще ни одна нация в мире не проделала такого опыта, сионизм твердо убежден, что стоит только посадить перекасти-поле корешком в землю, и он зацветет, как жезл Аарона. Опыт непременно удастся — в этом нет сомнения; оставалось только решить, какое место на земле наиболее пригодно для посадки. Тут, после некоторых колебаний, пришла на помощь романтическая мечта евреев о возвращении на древнюю родину. Эта мечта, разумеется, — сильный психологический стимул и, как таковой, может до известной степени содействовать успеху. Но ведь она — только одно из слагаемых; а о том, что за две тысячи лет еврейство физиологически переродилось, что его организм давно приспособился к иным почвам, климатам и бытовым укладам, что старая родина остается его родиной лишь в том смысле, как для взрослого растения — парник, откуда оно было высажено, или для бабочки — кокон, — об этом сионизм не думает.

Но я и коснулся этой темы лишь мимоходом. Суть дела — в отвличенной формуле сионизма. Нам нужно уяснить себе две вещи: во-первых, верен ли исторический закон, на котором базируется сионизм, и, во-вторых, та цель, которую он ставит пред еврейством, заслуживает ли быть возведенной в идеал. Я утверждаю, что и закон наблюден неверно, и цель избрана недостойная нас.

III

Нет никакого сомнения: нация не механическое сцепление личностей, а некая умопостигаемая индивидуальность, имеющая единую волю и свое особенное предназначение в мире. Мы не только смутно и, однако, уверенно чувствуем это в современности, но и вполне ясно видим в прошлом, где ожившие народы предстают нам в совершенной цельности своего существа и своей судьбы. Как река в вечной смене вод, как отдельный человек един и целостен в непрерывном обновлении своего телесного состава и душевных движений, так всякий народ есть в истории один организм, одно лицо и одна судьба. Существует стихийная воля нации, и воля эта в своем неудержимом стремлении отлагает наружу как бы известковые образования — причудливые, строго-закономерные формы народного быта и народной судьбы. И как изнутри эти формы строятся, так непрерывным движением народного духа они изнутри и образуются, разрушаются, обновляются неустанно. Национальность — начало формообразующее, морфологическое. Не сущность исторического процесса она определяет, но только индивидуальные формы его существования и внешнего проявления. Национальное начало не творит существенно, — творят другие силы: оно только привходит во всякое творчество, как желчь непрерывно выделяется печенью и воздействует на пищеварение. И даже не самые формы определяет оно, потому что формы человеческого бытия тождественны по всей земле: национальность определяет только форму форм, то есть видовое своеобразие форм. Эстетическое чувство свойственно всем людям, но у греков оно развилось всего более; нос есть у всякого человека, а римляне отличались от других людей только особенной структурой носа. И действие этого пластического начала столь тонко, так глубоко органично и таинственно, что уследить его нам не по силам.

Но если так, если национальность, действительно, не творит бытия, ни даже его форм, а только видовые признаки форм, подобно той неведомой силе, которая листьям дуба придает форму дубового листа и носу слона — форму хобота, то очевидно, что овладеть этой тончайшей стихией, во-первых, невозможно, а, во-вторых, и незачем, потому что она никак не могла бы стать в наших руках орудием существенного творчества. Нас же должно интересовать только последнее; для нас жизненно-важна лишь та сфера, на которую простирается компетенция нашей разумной воли. На действие национального начала она не простирается, следовательно, о нем нам и нечего заботиться. Национальность — наш неизменный спутник; как мы неизменно воспринимаем явления в категориях пространства, времени и причинности, так и национальность определяет все наши восприятия и всякое наше целесообразное действие. Не нация, как утверждает сионизм, есть подлинно-реальное в истории, а личность, потому что только личность творит существенно и только ей до известной степени предоставлена свобода выбора. Национальное начало действует автоматически и не развивается самочинно; развивается личность, и только в ней, питаемая ее целостным развитием, национальность крепнет и очищается. Человеческий дух не составлен из кусков, он слитно-целен, и потому ничто природное не может быть изменено в нем частично по сознательному замыслу: всякое такое усилие исказит его в целом, но своей специальной цели не достигнет. Национальный элемент — только одна из природных данностей, и о нем, как об отдельном, надо забыть, хотя он есть и вечно будет. Нам надо каждый представший вопрос и каждую задачу решать на основании существенных соображений, практических и идеальных; нам надо стараться быть сильными, свободными, полными духа людьми, — тогда наш национализм, который бессознательно есть в каждом, будет высокого качества. Испанец должен просто жить, не стараясь жить по-испански: хочет он или не хочет, он все равно живет по-испански и на свою долю осуществляет «миссию» испанского народа; но если он живет хорошо, испанский элемент в нем как раз очищается от шлаков, и он, не думая о назначении своей нации, тем лучше служит ему, — я думаю даже, улучшает в меру своих сил, потому что, ежели в самом деле народу предначертывается траектория его пути, то это, конечно, не линия, а так называемый «пучок траекторий», то есть некоторый простор вверх и вниз, предоставляемый уже свободе человеческой воли.

Поэтому я говорю: национальное творчество не есть какой-либо особенный, высший вид коллективного творчества, но всякое творчество народа непременно, помимо воли его участников, окрашено национально и этой окраской объединено. Не старайтесь быть нацией: вы

неизбежно нация, по самой природе вещей. И когда вы утверждаете одновременно, что еврейство есть нация, что, распыленное по земле, оно вследствие своей распыленности неспособно к национальному творчеству, — я отвечаю: если оно действительно нация, — а я так думаю вместе с вами, — то его раздробленное, коллективное творчество непременно в какой-то сфере, недоступной нашему зрению, образует национальное целое. Тучи встают не только из морей; каждый ручей и каждая лужа испаряют в воздухе влагу. Нация не должна непременно быть собранной на одной территории, чтобы ее творчество было национальным: она творит так во всяком случае и при всяких условиях. Все дело в том, что еврейское национальное творчество в целом незримо, хотя от этого не менее реально, вы же не раньше хотите поверить в его реальность, нежели сумеете осязать его.

Повторяю: национальный элемент вне вашей власти. Известная группа людей есть нация до тех пор, пока она — нация, а перестает быть нацией помимо сознательной воли своих членов. Я полагаю, что евреи в своей совокупности, наперекор рассеянию, суть единая нация, творящая целостно. Что будет дальше с нашей национальностью? — Ее судьбой распоряжаемся не мы. Есть в ней живые силы — она уцелеет надолго; нет — она будет постепенно гаснуть, то есть будет замещаться в отдельных личностях другими национальными началами, французским, русским, немецким. Мы можем скорбеть об ее угасании, но помочь здесь нельзя; в делах такого размера фатализм неизбежен. В наших домах мы строим печи, чтобы бороться с зимним холодом, но кто же вздумает принимать меры против охлаждения солнца? Читая в сионистских брошюрах призывы создать еврейскую национальную школу, возродить в ней библейский язык или щадить жаргон не потому, что и то, и другое, и третье хороши сами по себе, но потому, что это — первостепенные средства в борьбе за сохранение еврейской национальности, — я думаю: эти люди не на шутку боятся, что солнце остынет, и силятся поддержать в нем жар.

IV

Первый, самый характерный признак сионизма — это безверие, его необузданный рационализм, мнящий себя призванным и способным управлять стихией. Наши предки умели мудро смиряться перед заповедными тайнами; современный разум не знает своих границ. Но тайны есть; если наша мысль разгадала секрет естественного отбора, если она сумела подчинить себе силу электромагнитных волн, — это еще не значит, что ей все подвластно. Сионизм посягает на запретное уму; в этом смысле он — плоть от плоти современного позитивизма, о чем, впрочем, и непосредственно свидетельствует его националистически-утилитарное отношение к религии.

И, задумав разгадать механизм национальности и взять его в свое ведение, он не бросил свою мысль, как птицу, чтобы свободно облететь века и земли, но робко оглянулся кругом и, увидев ближайшее, признал свое скудное знание непререкаемой истиной. Он оглянулся в Европе последней четверти 19-го века: все мощные государства—либо цельные нации, либо стремятся вобрать в себя цельные нации. Слитность, сомкнутость, независимость нации признается высшим благом; чтобы добыть его, не жалеют никаких жертв. Что это стремление родилось из экономической борьбы и только освещает себя идеологией национализма; что оно чревато величайшими опасностями и неминуемо приведет к катастрофе, к мировой войне наших дней, этого никто не видел. Объединение Германий ослепило всех как апофеоз национализма. Какое спокойное могущество территориально и государственно объединенной нации! Вот идеал, вот норма исторического бытия! Увлеченные этим примером, встают балканские славяне, оживает младочешское движение. И сионизм соблазнился. Он смиренно повторил за своими учителями: «да, другого пути нет; только объединившись телесно в одном месте, только образовав снова территориальное государство, можем и мы, евреи, снова начать здоровую жизнь»,—и написал эту формулу на своем знамени. Да полно, так ли? Правда ли, что сожитительство однородных на одной территории есть единственная нормальная форма национального существования? Разве Англия, смешавшая воедино три народности, не создала одного из высших человеческих типов и не внесла богатого вклада в мировое дело? И разве не то же совершается на наших глазах в Америке? Почему я должен думать, что еврейство живет ненормально? Его жизнь только своеобразна, отлична от жизни большинства других наций, и столь же своеобразно его творчество. Ведь природа богата разнообразием форм. Сравнительно с большинством растений,

прикрепленных к месту, растение, скитавшееся по морю, ненормально; сравнительно с большинством живых существ ненормальна бабочка, рождающаяся в виде гусеницы, которая обращается в неподвижный кокон и только под конец в бабочку, нимало не похожую на гусеницу и кокон; ненормален и полип, рождающий совершенно непохожую на него медузу, из яиц которой опять рождается полип, и так попеременно чередующий свое потомство. Человек, никогда не слыхавший о слоне и кенгуру, назовет ненормальными зверя с мягким носом в сажень или с передними ногами втрое короче задних. Наш разум произвольно постулирует единообразие в природных делах, где оно сплошь и рядом отсутствует. Разум видит в мире то, что ему хочется, потому что единообразие легко понять и покорить.

Сионизм не вывел своего идеала из философского анализа еврейской истории; он не вынес его также из глубины просвещенного сознания как объективно-должное; он соорудил его из трех дурных предпосылок; из ошибочного представления, что судьба народов определяется их собственными сознательными решениями; из произвольного утверждения о ненормальности еврейской судьбы; и из ложного догмата о территориально-государственном объединении наций как средстве единоспасающем. Все эти три предпосылки он готовыми принял от извращенной и грешной европейской идеологии конца 19-го столетия. Потому и считаю себя вправе сказать, что сионизм — не еврейское учение, а современно-европейское, всего более немецкое; он вполне подражателен, результат заразы.

Соблазниться сознательным национализмом, свирепствующим теперь в Европе, — какое плачевное заблуждение! Национальность нечувствительно определяет и окрашивает каждый акт нашей существующей деятельности, но горе, если она начинает творить акты из самой себя. Национальное чувство есть в природе то же, что чувство личности живой твари: оно благотворно, пока действует органически. Но точно так же, как чувство личности в человеке, действуя органически, вовне законным инстинктом самосохранения, а пропитавшись сознательностью, превращается в эгоизм, так рассудочная мысль искажает природу национального чувства, возводя его в мнительный, злой и корыстный национализм. Именно так исказилось здоровое национальное чувство в рационалистической Европе нашего времени. Рядом с существенным творчеством народы удручены еще отдельной заботой — об ограждении своей национальности; из элемента, сопresentствующего во всяком творчестве, национальность сделалась началом самодовлеющим и почти господствующим, была признана осбенной ценностью в числе других культурных ценностей. И эту небывалую ценность народы ревниво охраняют от невозможных посягательств, и чуть кто-нибудь, идя по своей надобности, пройдет мимо, они кидаются на него с оружием, а когда им хочется пограбить, они оправдывают свой грабеж мнимыми нуждами своего национального дела. Так призрак стал реальной силой, самой злой и губительной силой нашего века. Народы приносят ему в жертву подлинные ценности, творят его именем величайшие преступления. Разве не во имя сознательного национализма царская власть душила все малые народности России, Пруссия — познанских поляков, Венгрия — славян? Разве не сознательный национализм превратил балканские государства за последние 10—15 лет в озверелую стаю собак, то грызущихся до полусмерти, то с рычанием замазывающих свои раны? Не этот ли признак повинен и в мировой войне, не тем, что он толкнул народы на кровопролитие, но тем, что освятил его своим престижем?

На протяжении всех веков национализм, поскольку он становился сознательным, был злейшим врагом еврейства, а в России — и последние годы в Польше — он был даже главной пружиной еврейского угнетения. Подобно эгоизму, сознательный национализм непременно жесток и бесчеловечен, потому что он терзаем мнительностью, страхом ущерба. Этим бессмысленным страхом было продиктовано все русское законодательство о евреях: не выпускать их за черту оседлости, не пускать в гимназии, университеты, в акционерные общества и в адвокатское сословие, чтобы господствующая народность не потерпела от них ущерба. «Еврейское засилие в литературе», кричали писатели «Нового Времени»; в Польше двухгрошовые публицисты громили жалчайшую еврейскую лавочку, охраняя интересы польской торговли; а в Германии еврей не мог быть офицером, и старый Берман Коген со слезами рассказывал, как его обидели, не пустив на его свободную кафедру его любимых учеников потому, что они — евреи. Таковы плоды сознательного национализма; они по природе вещей не

могут быть другими, как яблоня может рождать только яблоки, а не другой плод. Этому-то кровожадному Молоху поклонился сионизм и сказал: «Ты пожирал моих сыновей, но вижу, ты — подлинно есть бог. Будь же и моим богом; хочу служить тебе». — Я обвиняю сионизм в том, что своим признанием он усиливает в мире злое, проклятое начало национализма, стоившее столько слез человечеству и прежде всего евреям. В идеале сионизм стремится прибавить к существующим уже безжалостным национализмам еще один — еврейский, потому что, если подлинно когда-нибудь в Палестине возникнет тот специфически еврейский быт и строй, о котором мечтают сионисты, то и он непременно будет ревновать о своей чистоте, будет подозрительно смотреть кругом и строить рогатки. Вы скажете: этого не будет, я же отвечу: весь плод заключен в зародыше. Сознательный национализм не может быть иным, нежели какова его природа. Создавая еврейский национализм, вы умножаете царящее зло и приобщаете к нему еврейство. До сих пор еврейству была присуща, как всякому народу, лишь имманентная исключительность, то есть исключительность своеобразной религии, своеобразных народов и тому подобное; ваша исключительность сознательна и активна, она помимо вашей воли будет стремиться выработать целесообразный план внешней обороны. Потому что Молох, признанный богом, тотчас требует себе культа, сообразно с его природой.

Мне тяжело думать, что мои слова могут быть неверно поняты. По моему личному чувству, я вовсе не враг сионизма, — напротив, он трогает меня своей искренностью, горячностью, этой беззаветной преданностью идеалу, которая стариков делает юношами, а юношей — сердцем человечества. Надо быть слепым, чтобы не видеть, какой болью за еврейский народ, каким нетерпением воскресить его для новой жизни вдохновлено это движение. Психологическую красоту сионизма чувствуют и посторонние; он вызвал всеобщую симпатию во всем цивилизованном мире. Но одобрение инородцев — опасный соблазн. Понятно, что новорожденный еврейский национализм им по душе: они сами погружены в суеверие национализма; они приветствуют в сионизме решение еврейского вопроса, заимствованное из их собственной мудрости. К тому же еврейская беда для них — чужая беда; мельком взглянуть, посочувствовать и, не углубляясь в подробности, авторитетно одобрить применяемое средство, которым они сами привыкли лечиться, — вот и все их участие к еврейству. Оттого энтузиазм сионистов их легко подкупает. Я не чужой, не зритель, и дело это слишком серьезно, чтобы отдавать его во власть увлечения.

Философия сионизма по смыслу близорука и самонадеянна, а по содержанию подражательна. Сионисты провозглашают: «Мы нашли средство против всех еврейских бед: мы досконально узнали, что надо сделать, чтобы еврейство снова стало сильным и счастливым». Завидная уверенность! Я не взялся бы определить условия совершенства даже для одного и хорошо известного мне человека, ни даже для самого себя: так непредвиденно сложны движения духа и сцепления случайностей, а они без малейшего колебания мысленно предвосхищают будущность целого народа. Но их смелость понятна; дело в том, что они чрезвычайно упростили задачу: они хотят, чтобы еврейство было свободным и счастливым не по-своему, а как все другие народы; они желают для него не индивидуально высокой доли, а шаблонного благополучия. Сионизм мыслит дальнейшее существование еврейского народа не в тех своеобразных формах, какие могут выложиться наружу из недр его духа, а в формах банальных и общеизвестных. По необычности своего лица и своей судьбы, еврейство доньше — аристократ между народами; сионизм хочет сделать его мещанином, живущим, как все. Так отец увещивает сына: «Остепенись! Твои сверстники давно устроены. Мы нашли тебе хорошую девушку: женись и войди в отцовское дело». Но сын не должен послушаться родительского совета. Он живет бурно и бедно, терпит лишения и насмешки, — но он гений. Родители ничего не понимают в его искусстве; он пишет какие-то странные картинки, где дома висят в воздухе, а люди падают с крыш, и этих картин никто не покупает. Нет, еврейство не должно слушаться сионистов. Его дело пока непонятно миру, но, может быть, ему суждено озарить века своим творчеством. Пусть живет, повинувшись тайным зовам своего духа, а не пошлым правилам здравого смысла. Поистине, счастье и даже свобода — не высшие блага на земле; есть блага ценнее их, хотя и не осязаемые.

Сионизм есть отречение от идеи избранничества и в этом смысле — измена историческому еврейству. Я не отдам избранничества за чечевичную похлебку территориально-государственного национализма, прежде всего потому, что не верю в ее целебность, как не верю вообще в существование народных панацей. Мой народ несчастен, гоним, рассеян: от этого он ведь не хуже других. Напротив, его судьба тем и прекрасна, что она такая особенная; и я стараюсь понять, каковы именно признаки ее особенности.

Глубокомысленный, сложнейший замысел — и элементарная ясность плана; основные линии так отчетливы, что их способен проследить ребенок, но каждая определена тончайшими соображениями и служит многообразным задачам целого: таковы создания гениальных художников — и так творила душа еврейского народа его внешнюю историю. В самом деле, последовательность еврейской истории изумительна. Кажется, будто какая-то личная воля осуществляет здесь дальновидный план, цель которого нам неизвестна.

Два склона: от темных низин до вершины, и за перевалом — снова вниз. Восход еврейского народа был обычен: в беспорядочном движении кишачих атомов возникает едва заметное ядро, вихревой центр, — дом Авраама, как гласит предание. Ядро разрастается, делясь в самом себе, и чем больше разрастается, тем сильнее в нем внутренняя сила сцепления. Постепенно намечаются органы, соподчиненные в общем строе; увеличивается вовне объем тела и крепнет внутри дифференцированное единство; проходят века в неуклонном росте, и вот образовался цельный и сложный организм. Так возникали из хаоса и все другие народы. Но если всмотреться поближе, в зачатках еврейства обнаруживаются странные черты. Обыкновенно народ формируется, как растение, на том самом месте, где он родился. Крылатый зародыш, носившийся по ветру, оседает на земле и пускает корень; дальнейший рост неразрывно связан с особенностями первоначальной родины. Физический склад народа, его быт и нравы, его учреждения и религия как бы вырастают из почвы, в полнейшей зависимости от местных условий, — от климата и устройства поверхности, от состава соседей и прочее. Еврейский народ твердо помнил из своего детства одно: что его религия и законы образовались не обычным путем, не в прочном укоренении оседлости, а на ходу, в движении. В Египте — еще не народ, а только возможность народа, народ же родился в бездомном скитании, в Синайской пустыне. Он создал этот миф потому, что тайно знал себя неоседлым и в своей позднейшей оседлости. Он ощущал в себе какую-то летучесть, неукореняемость в почве и, обдумывая свое духовное творчество, — свою веру и нравы, — чувствовал в них воплощение духа, отрешенного от какой-либо местной действительности. Оттого еще внутри неподвижного Соломонова храма высшей срятыей оставался кочевой ковчег. Я думаю, что он был прав. Не всякий народ мог бы пройти путь еврейского народа; не всякая вера, не всякий моральный строй способны произрастать пересаженными на двадцать почв, в сущности — под любым небом, как еврейство. Бездомность ему врождена. Оно похоже на те растения, блуждающие в море, которых корни не врастают в дно.

Но словно для того, чтобы народ сплотился и окреп в своей духовной сущности, ему суждено было все-таки сесть и временно укорениться. Художник как бы не мог сразу осуществить свой замысел: он должен был подготовить свой материал. Он сажает еврейство на землю, чтобы оно приросло; он дает тому беспочвенному цветению налиться земными соками и расцвести в плод. Евреи в Ханаане — как египтяне в Египте: оседлость, организованный строй, замкнутость нации. Вера и обычай, рожденные в скитании, мощно разрастаются в оседлом быту, достигают полной зрелости и отвердевают. Здесь все благоприятствует созреванию; кажется, все помехи устранены заботливой рукой. Нужно, чтобы народ оплотнел и исполнился духом своим, как зрелый плод, полный семян. Как быстро возрастает еврейское царство! Как пышно расцветает оно богатством, промыслами, религией, культом, моралью, поэзией! Изначально среди всех народов в еврействе зародилась идея единобожия как духовный стержень нации, и когда в Соломоновом храме эта идея получила видимое воплощение, народ был в общем готов, точно художник сжимал песчинки в горсти своей и вот — слепил их в твердый ком. Народ крепко спаянный, неразстворимый среди других народов. Ощупал — твердо; и не медля поднял топор и рассек народ на две части: на Израильское и Иудейское царство. Ибо то, что людям казалось творческой работой — создание государства, — было лишь подготовкой материала, вероятно, скучной для художника; творчество же началось только теперь, как и плод, ценимый людьми, не есть цель природы, а нужно ей семя,

которое люди выплевывают. И так торопился, что даже не дал еврейству по-человечески насладиться своим благоденствием. Всякий другой народ, достигнув зрелости, долгие века стоит в зените, еще пышней цветет, приносит еще сочнее плоды, — иногда целое тысячелетие; еврейский народ мгновенно перевалил через вершину: его зенитом было одно царствование Соломона. Потому что и объединение и земное могущество не были его назначением, а только условиями его другого, подлинного творчества. Он восходил не для того, чтобы дойти до вершины и там, устроившись прочно, в оседлом существовании создать ценности, которых зародыш был вложен в него: так исполнили свое призвание Египет, Греция, Рим. Еврейский народ, восходя, только готовился в далекий путь нисхождения.

Так непостижимый дух народа двигал его изнутри и определял его судьбы. Каждый отдельный еврей искал себе счастье, вожди еврейские строили державу и веру, но тайно руководила всеми народная воля, делавшая их трудом свое единое дело.

VI

Это была страстная, нетерпеливая воля. Она рано сознавала себя и действовала с кипучей энергией. Сплотив из песчинок неразложимый народ, она тотчас изнутри расколола его и потом столетия дробила на части, все мельче, пока снова не расплыла совсем. Но новые атомы должны были быть качественными, отличными от первоначальных: в каждом из них должна была действовать народная воля. Она должна была пропитать личную волю каждого индивидуума так, чтобы он, осуществляя свои эгоистические желания, самым характером своих желаний и способом их осуществления служил ее целям. Оттого через всю историю еврейского рассеяния проходит странная антиномия: чем более еврейство дробится физически, тем более оно внутренне сплавляется, и наоборот, за каждый крупный успех внутреннего сплочения неизменно следует оглушительный удар извне и еще большее рассеяние.

Когда в конце 8-го века пало Израильское царство и десятки тысяч евреев, увиденные в плен, были расселены по отдельным провинциям ассирийского государства, они бесследно исчезли среди язычников, растворились в чужой среде, потому что еврейское начало было слабо в каждом из них: оно было еще недостаточно специфичным. Иудея улетела на сто лет, и она сделалась в эти годы как бы ретортой, где кипятилось и готовилось концентрированное еврейство. Сюда извне наливается сильнейший реактив — ассирийский культ в Соломоновом храме при Манассии, невольное идолопоклонство в народе, — и в ответ пламенные вспышки пророчества, где еврейское начало быстро крепнет и очищается в борьбе с язычеством. И все хлопочет в реторте, потому что страх ассирийского завоевания — как огонь под нею; и, наконец, в 621 году, как результат этого бурного кипения, великая реформа Иосии, провозглашение «Второзакония», гениальной заповеди, в которой сущность еврейства впервые была воплощена в твердых, сжатых, удобоносимых догматах. Народ, пропитанный такой эссенцией, как «Второзаконие», уже не растворим; но еврейство еще и теперь знало себя неготовым. Оно ищет средств еще более сгустить свою народную сущность и для того рядом видимых ошибок, неосторожностей, безрассудств, добивается разгрома. Иерусалим разрушен, храм сожжен, народ увен в изгнание, так надо. Эти изгнанники — второе поколение после реформ Иосии. Реформа выросла из глубочайших недр еврейства, как туча из вод земных, и теперь, излившись назад на еврейскую массу, была жадно впитана ею; эти изгнанники уже не растают среди язычников. Изгнание было нужно душе народной; она захотела оторваться от земли, исторгнуть свои корни. Вавилонский плен еще более упрочил еврейство. Здесь Езекииль молотом своего слова ковал еврейство, и здесь опять, в бездомном существовании, возник национальный кодекс еврейский — так называемое Моисеево законодательство. Когда затем народ вернулся в свою страну и Ездра с Неемией внедрили в него этот строгий, исключительный закон, еврейство сделалось как бы одним твердым телом, не плотски, — напротив, материальная целостность ему была уже не нужна, — но духовно, ибо все атомы его были теперь пропитаны одной волей. После этого оставалось доделать уже немного: надо было еще насквозь пропитать нацию ее чистой волей, разнести дух еврейства по волосным сосудам народного быта. Это была, задача психологическая; ее удобнее мог осуществить народ укорененный в родной земле, потому евреи остаются в Палестине еще

шесть веков. Большая часть была уже рассеяна: для того дела было довольно оставшихся. Государство находилось в упадке, в вечной зависимости от чужеземцев: для того дела было так лучше. Наконец, и эта работа была кончена. Народ, державшийся в земле, — как куст, наполовину вырванный ветром, — немногими корневыми нитями, чтобы дать созреть своему плоду, теперь больше не нуждался в оседлости. Катастрофа 70-го года, окончательное крушение еврейского царства, не была внешним событием, но сама воля еврейства довольно и обдуманно произвела ее в вещественном мире своими духовными силами в срок, какой она сочла благовременным. Еврейское начало в мире кипятилось и процеживалось более тысячи лет; теперь оно было окончательно готово: крепчайший и чистый настой. Не было и нет другого народа, столь прочно спаянного внутренне, столь однородного духовно. На протяжении дальнейших веков еще несколько раз приходилось крепче затягивать срединный узел, чтобы еврейский ум не разложился в человечестве; таково было создание Мишны во 2-м и Талмуда в 5-м веке, таков же был раввинизм и кагальная система в Польше и Литве 16—17 веков. И эта внутренняя цельность вызывала во внешнем мире такое последствие, которое в свою очередь ограждало ее извне и тем благоприятствовало ей: исключительность еврейства в нравах и пище побуждала врагов усугублять ее созданием гетто в средние века и черты оседлости в России. Так дух еврейского народа внутренне и внешне строил его судьбу по какому-то определенному плану. Эта сплоченность в рассеянии была нужна не сама по себе: ее ценность чисто формальна. Она была, как сосуд, в котором собраны капли настоя, потому что только совокупно они сохраняют свое особенное свойство, а разбрызганные выдохлись бы. Внутреннее единство еврейского народа было нужно для того, чтобы в каждом еврее его личная воля была насыщена еврейским национальным началом.

VII

Чего же хочет еврейский народный дух? Какое дело он совершает в мире? Если детство и молодость народа ушли на то, чтобы их воля сознала себя и облеклась плотью, то вот уже два тысячелетия, как началась его положительная деятельность: достаточный срок для того, чтобы подвести ей итог. Сионизм просто зачеркивает эти двадцать веков рассеяния. Он говорит: деятельности не было вовсе, было болезненное прозябание, причиненное извне, вроде того оцепенения, в какое погружена рыба, вынутая из воды. Как? Значит, Иудейское царство пало потому, что Александр Македонский был гениальный полководец и Рим — могущественная держава? Но ведь возможно было и противоположное: несметные полчища Дария не одолели же Греции, и побежденные народы не раз освобождались. И рассеяние евреев по лицу земли объясняется привычкой древних завоевателей уводить побежденных в плен? Но почему евреи в плену не растаивали среди чужих племен, и почему, наоборот, они уживались на чужбине, а не тянулись на старую родину, как можно было бы ожидать, в особенности, от народа столь исключительного и так строго централизованного религиозно вокруг Иерусалимского храма? Почему они разбрелись по всей земле и толпами кочуют поныне, а не собрались в изгнании на одном месте? Нет, судьбы народов еще меньше подвержены власти случая, нежели судьба одного человека. Повторяю: еврейский народ, как и всякий, из глубины своего духа творил свою внешнюю участь, и в этом смысле это скитальчество так же нормально, как и его древняя оседлость. Он сам захотел рассеяться и потому дал себя изгнать и остался рассеянным доныне. Вспомните: еще иудейское царство стояло, а уже большая часть евреев была рассеяна по всем странам Востока; еще второй храм красовался во всей славе, а на улицах и в домах Иерусалима уже не слышно было библейского языка: весь народ говорил по-сирийски или по-гречески. Рассеяние — такой же закономерный этап этого роста, как превращение неподвижной куколки в бабочку.

Мысль моя так странна, что я едва решаюсь высказывать ее: дано ли смертному познать истину в таких делах? Я вижу еврейство в его долгом скитании одержимым одной страстью: отрешаться от всего неизменного. Мне кажется: все другие народы накапливают сокровища для того, чтобы потом творческим использованием этих сокровищ осуществлять свое призвание; еврейский народ не менее жадно добивался национального единения, государственного

могущества и духовной полноты, но лишь затем, чтобы во вторую половину своей жизни срывать с себя эти мирские оковы,—лишь затем, чтобы было что бросать. Он разрушил свое государство, как созревший птенец ломает скорлупу яйца; он оторвался от своей земли и пошел по миру, чтобы жить бездомно: больные отрывы, кровоточащие раны — но он так хотел неутолимым хотением. Он расторг свое единство и разметал себя далеко в обломках. Он захотел не иметь своих законов, и, значит, жить по чужим; он отказался потом и от драгоценнейшего достояния — от национального языка. Он как бы сознательно учился самоотречению: не надо дорожить народной независимостью, надо учиться жить без нее, под чужой властью; не надо быть прикрепленным ни к одному месту, ни к одному языку, ибо это рабство плотскому началу: разделись и странствуй! Пусть у тебя не будет ничего постоянного на земле, никаких дорогих сокровищ: человек не может обходиться без земных орудий, — пусть же все они у тебя временные; научись менять их, не прикрепляясь душой. Так хотела народная воля; и, пронизав весь народ как один организм, она изнутри отложила наружу твердую скорлупу, облекла народ невидимую в мире замкнутостью, исключительностью, упорством. Этой исключительностью народная воля притягивала извне и скопляла вокруг еврейства те особенные, с виду враждебные силы мира внешнего, которые, воздействуя на еврейство, помогали ему преобразаться в указанном смысле. Своей исключительностью, этим внешним символом единства, особенности и непреложности своей национальной воли, еврейство на всем пути рассеяния приманивало к себе самых строгих наставников, которые и учили его тому, чего последовательно требовал его внутренний голос. Они все были слугами его призывания, как цветок яркой окраской привлекает насекомых, которым предназначено разносить его семя. Он сам тайным зовом призвал Тита разрушить его царство, крестоносцев — избивать его сыновей и в Вормсе и Кельне, Филиппа — изгнать их из Испании, Кишиневскую чернь — громить их дома. Он хотел учиться и щедро платил своим учителям. Пусть скажет кто-нибудь, что выучка была unsuccessful. За две тысячи лет еврейство успело порвать крепчайшие цепи, какими человек привязан к земле. У него не осталось почти ничего постоянного; где ни живут евреи, у них все — временное: оседлость, язык, закон, одежда и пища, занятия, интересы и моды. Все не свое, а взятое напрокат, все равно у кого, и наскоро приспособленное для временного пользования. Не дом, а походная палатка, как если кто спешит к своей цели и пренебрегает удобством в пути.

Но как тяжка была участь отдельного еврея. Дух народный нудил его отрешиться, а слабое сердце жаждало как раз устойчивости, постоянства. Сердцу нежен уют, а уют — это могилы предков, свой дом, свой язык; непрерывная традиция, словом — обеспеченная оседлость тела и духа. Отдельный еврей, рожденный в изгнании, естественно хотел пустить корни в том месте, где родился, и обрести прочным бытом. Так в его груди билось два сердца: бднв влекло к земному устройению, другое гневно повелевало не прикрепляться ни к каким благам. Тот голос манил его смешаться с средою, — отсюда в еврействе неискоренимая тяга к ассимиляции даже с древних времен; этот — требовал большего жизни беречь свою национальную исключительность. Вся история рассеяния есть непрекращающийся спор двух волей в еврействе: человеческой и сверхчеловеческой, индивидуальной и народной. Чуть осев кучкой где-нибудь на пути, евреи тотчас начинают устраиваться прочно; если не навсегда, хоть надолго. Устроиться — значит войти в общение с местным населением, приноровиться к его потребностям и вкусам. Начинают робко, уступая житейской необходимости, потом входят во вкус уюта, и вот уже готов более или менее прочный дом. Знают, что грех, и, внемля голосу народной воли в себе, всячески блюдут свою исключительность, но и поминутно изменяют ей; одна рука, одетая в рукав местного покроя из местной ткани, строит жилище, другая обнажена, обернута филактерией и бездействует. Сколько раз и на сколь несчетных местах за две тысячи лет евреи так лукаво пытались укорениться в земле! Случалось даже, вырабатывали себе целые культуры смешанного характера, наполовину из еврейских, наполовину из туземных элементов, рассчитанные на долгое употребление, и создавали себе временно постоянный язык. Так было, например, в Александрии, потом в Испании, позже в Польше и Литве. Народный дух как будто оставлял свою строгость, снисходя к бренной плоти, чтобы она не сломилась под ее ярмом. Он давал человеку подкормиться оседлостью и окрепнуть, — но затем вдруг решал: довольно! корни крепнут, позже их будет трудно вырвать! Тогда он исключительностью еврейской, сохраненной и в оседлости,

подзывал извне любого учителя, кто бы не проходил мимо, лишь бы с крепкими кулаками, — испанского Филиппа, или Гонту, или Янушкевича с солдатами в эту войну, и крушил их руками в щепы обжитой дом, долговременные привычки, весь налаженный строй, и сгонял евреев с насиженного места на чужбину, или же, как в средневековой Германии и у нас в России, довольствовался тем, что рукой иноверца сильно встряхивал еврейство на месте, либо отбрасывал его недалеко, — только бы не пустило корней. Потому же, я думаю, еврейский народ стал народом подвижных профессий, народом ремесел, торговли, обмена. Земледелие запрещено еврею его народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту и к устойчивым формам жизни.

А мир хочет как раз противоположного: он жаждет прочности почти столько же, как самих достижений. Все народы начали свое поприще бездомными и восходят все к большей устойчивости; постоянство есть неотъемлемый признак культуры. Еврейство, дойдя, как все, до вершины, внезапно пошло обратным путем, — снова к временному, непрочному, от крепких стен Иерусалима к передвижным шатрам. В этом смысле еврейство антикультурно; оно бродит между народами как жуткое напоминание и пророчество; из праха ты создан и в прах обратишься. Еврейская исключительность была для мира только внешней окраской, но ненавидел он в еврействе именно его субстанцию, которая вовне обнаруживалась той краской, — его волю к отрешению, к непостоянству. И не безделицей было еврейство для мира во все эти двадцать веков: народы с жгучим интересом следили за ним, и чем дальше смотрели, тем ярче их взор разгорался страхом и ненавистью. В том деле, которое делает еврей, есть какая-то вечная истина, но какая страшная. Зачем он напоминает мне о ней? Она убивает волю к земному строительству. И как он может жить с такой правдой в душе. Он — исчадие прошлого, он пугает наших детей, — бей его, гони, пусть исчезнет! — А воля еврейская только того и хотела, чтобы гнали евреев, чаще, чаще! Оттого была полная гармония между волей еврейского народа и его внешней судьбой. Мир думал, что он казнит еврейство, а на самом деле служил ему, как он служит всякой воле.

VIII

И вот, главное сделано. На всем пространстве рассеяния еврей живет временно, как путник на ночлеге, где прочнее, как в Средней и Восточной Европе, где просто в шатрах, как в Румынии и Америке, но всюду без собственного домоводства. Все главные корневые отростки перерезаны; народный дух оставил ему только право сохранять или сызнова пускать в почву нитевидные корни, без которых уже невозможно питание и следовательно самая жизнь. И хотя в этом отношении, казалось бы, уже нечего опасаться рецидива, однако народный дух и теперь еще время от времени отрывает слишком приросшие к земле и слишком спаянные части еврейства и швыряет их, как бы в досаде, за море или через границы государства, иногда с такой силой, что глыба разбивается вдребезги. Так он оторвал, — все помощью обычного средства, воздействием еврейской исключительности на внешний мир, — и бросил за океан, в Америку, больше двух миллионов русских евреев в последние 35 лет; так в этой войне он оторвал и разметал по России миллион евреев, засидевшихся в Польше и Литве; и беспрестанно встряхивает еврейство русскими, румынскими, марокканскими и всякими другими погромами, чтобы не забывалось. Но в общем все-таки цель достигнута: еврейство не имеет земного града.

Но у него остается небесный град, где он тем увереннее чувствует себя дома, — точнее, земной образ небесного града. Ему осталась религия и с нею рожденное, ее надолго переживающее чувство национального единства: могучий стержень, исполняющий двойное назначение, потому что он внутренне объединяет еврейство в один ствол и вместе образует единый крепкий корень, которым еврейство коренится в земле. Всякая внутренняя связь между людьми есть и внешнее совокупное их прикрепление. От всех земных устоев народный дух оторвал еврейство, не оторвал еще только от последнего и самого прочного, который уже на границе земли и неба. Этот остался дольше всех, потому что, только опираясь на него, еврейство могло психологически вынести боль всех меньших отрывов. Если бы не религия, не Тора и сознание общности своей, народ не прошел бы сомкнутым строем чрез такие муки. Те

требования, которые национальная воля предъявляла к отдельной личности, были столь беспощадны, почти выше человеческих сил, что без великой надежды, общей для всех, еврей на каждом шагу впадал бы в отчаяние и соблазнялся бы отпасть от братьев и от странного, мучительного общего дела. Нужен был ослепительный общий идеал, который давал бы силу на совместное подвижничество; еврейство могло победить в себе персть только при незакатном и неподвижном солнце, как некогда воинство Иисуса Навина. Вот последняя неподвижность: для верующего еврея — незаменимая Тора и неразложимое еврейство, для неверующего — по крайней мере последнее.

Сказать ли мое предвидение? Но факты сами гласят, как открытая книга. Я вижу, что таинственная воля еврейства направлена к тому, чтобы разрушить и этот последний оплот. Он был лишь наиболее долговременным из временных орудий народного духа; теперь его черед. Что пользы освободиться от сладких привычек бытия, когда остается одна сладчайшая тех? Дух должен быть абсолютно свободен, потому что он есть движение, только движение, а свобода и движение — одно. Духовная стихия в человеке сама пожелала обуздать свой разрушительный поток, и потому сама воздвигала на своем пути неподвижные запруды, неволя себя к плавному течению; но она же и разрушает свои сооружения. Тора, национальное чувство евреев — последние, мощные плотины. Пока они стоят, еще нет свободы движению духа. Да не будет у тебя никаких незаменимых сокровищ, никакой прочной обители. Ты прилсплен к Торе? — оторвись; ты чувствуешь себя навеки оседлым в еврействе? — выйди из него; твой дух должен стать столь же бездомным, как твое тело. Ты был некогда во плоти гражданином Ханаанского царства, теперь ты гражданин вселенной; ты был в духе подданным Торы и гражданином еврейства, — будь ничьим подданным, гражданином духовной человечности. Я не оставлю тебе ничего, кроме хлеба насущного и семейной любви, чтоб ты мог жить. — Тоскует и плачет в еврее бранный состав человека: «Мне ли, смертному, мне ль, изнуренному освобождением плоти, поднять такое бремя?» И крепко держится польский, литовский, галицийский еврей за Тору и Талмуд, строго блюдет ритуал и субботу, посылает сыновей в ешибот, а те, в ком погасла вера отцов, сионисты, селятся остановить духовное распадение еврейства внешними средствами: территориальным объединением его на старой родине, возрождением бывшего языка, прививкой сознательного национализма.

Но воля народная неукротима. Как не прижимай к груди туго свернутый свиток закона, он вырвется из объятий, развернется и улетит в небо, как змей, потому что объятие уже расслаблено без твоего ведома. И обручи не взойдут на распадающуюся громаду. Неудержимо гаснет вера в еврействе, еще быстрее с ее угасанием рушится на местах специфически еврейский быт: об этом без устали твердят сами сионисты. Но они заблуждаются, думая, что ассимиляция еврейства по существу случайный процесс. Они должны бы спросить себя; разве не странно, что ассимиляция необычно усилилась как раз в последние сто лет и ускоряется с каждым часом, хотя теперь, вследствие повсеместного уравнивания евреев в правах, соблазн Отпадения несравненно уменьшился? Соблазн был еврею креститься в дни инквизиции, чтобы уцелеть; соблазн был надеть европейское платье, есть трэфное и ездить в субботу, когда этими уступками можно было купить безопасность и даже сытость. В наш просвещенный век внешняя исключительность всюду разрешена законом и в общежитии меньше колет глаза. Нет, — то не внешняя сила расщепляет еврейство; оно само распадается изнутри. Обветшал, истлел главный стержень—религиозное единство еврейской нации. Раньше народный дух удерживал отдельного еврея в составе еврейства религиозно-национальным чувством внутри, исключительностью снаружи теперь он разлагает то чувство, а потому и внешняя исключительность выветривается сама собой. Зерно прорастает — шелуха должна лопнуть.

IX

Мне кажется, еврейство вступает ныне на последний стадий своего пути. Были поворотные пункты в его истории: завоевание Ханаана, возникновение царства, постройка первого храма, потом вавилонское пленение и возвращение из плена, наконец, крушение царства и разрушение последнего храма; но ни один внешний факт еврейской истории, как бы он ни был значителен, не может сравниться с тем духовным событием, которого нам суждено быть участниками и

зрителями. Разложение еврейской веры и пропитанного ею быта — величайший перелом в истории еврейского народа с тех времен, когда в нем окрепла идея единобожия. Этот перелом начался в единицах давно, теперь он захватывает уже и массу, и его ничто не остановит. Двадцать веков и больше еврейство училось плотскому рассеянию и научилось; теперь для него начался период духовного рассеяния и духовной бездомности; и эта выручка будет горше той. Самая разительная особенность ветхозаветного Бога заключается в том, что он возлюбил еврейский народ паче всех земных племен, но за грех карает до седьмого колена. И точно: нет участи величественнее той, какая выпала на долю еврейства, но и ни одна народная воля не требовала от отдельного члена нации такого подвижничества, как еврейская; она поистине беспощадна к личности. Бичами и скорпионами истязал еврейский Бог тело своего любимого сына, уча свободе чувственной, потому что чувственное освобождение совершается только через тело. Какие ужасы погромов, скитальчества, смертельного страха, унижения и нищеты! Какая боль бесчисленных сердец от Тиглат-Пилесера до Калуша и Тарнополя сегодня! Рвал крючьями тело, жег раскаленным железом, никого не жалел — ни старых, ни дев, ни бессловесных младенцев. Все отрывал, отрывал и гремел с небес: «А, сластолюбец, непокорный раб! Опять угрелся в логовище? Иди! Не прилепляйся сердцем ни к чему земному, странствуй сердцем!» Теперь сердце научилось жить временно и бездомно. Первая выучка кончена. Без нее была невозможна вторая, высшая — освобождение духа. Но тут нужны другие приемы: дух освобождается в самом себе, внутренним противоборством. Теперь тело не будет страдать, — напротив, поскольку сердце свыкло с бездомностью, тело может жить спокойно. Не бесправием, погромами и изгнанием будем мы обучаться последней свободе, вообще не внешним самовоздействием; еврей ждуг иныя страдания. Можно вытерпеть жесточайшие муки, пока дух имеет опору, пока в нем есть хоть одна неподвижная точка; но без заветной святыни самое счастье невыносимо. Сионисты думают, что ассимиляция грозит гибелью самой сущности еврейства. О, маловеры! Еврейское начало неистребимо, неразстворимо никакими реактивами. Еврейский народ может без остатка расплыться в мире — и я думаю, что так будет,— но дух еврейства от этого только окрепнет. Венский фельетонист-еврей, биржевой делец в Петербурге, еврей-купец, актер, профессор, что у них общего с еврейством, особенно в третьем или четвертом поколении отщепенства? Кажется, — они до мозга костей пропитаны космополитическим духом, или в лучшем случае, духом местной культуры: в то же верят, в то же не верят и то же любят, как другие. Но утештесь: они любят то же, да не так. Они берут на подержание чужие верования, идеи, вкусы, во-первых потому, что надо же как-нибудь осмысливать жизнь, хотя бы обманывая себя мнимым смыслом; а во-вторых, начавшееся в них обнажение еврейского духа есть уродство для мира: надо чем-нибудь прикрыть свою духовную наготу. Они не обманщики, нет. Напротив, нельзя быть искренне и усерднее в прозелитизме. Их действительно пожирает страстное желание уверовать в чужих богов с тою же беззаветностью, какую они видят в туземцах, потому что только такая вера, автоматически направляющая сознание, дает нужный упор для деятельности. Но вера — как дитя: кровно любит ее только та душа, которая родила ее из недр своих в муках; для всякой другой души она — ценность; то есть внешний предмет, неизбежно подлежащий оценке. Именно так живут евреи, духовно отпавшие от еврейства. Они силятся полюбить то, чем живет современный культурный мир: его позитивистическую веру, его философию, науку, эстетику, демократизм в политике и социализм; они делают вид, что уже любят, по настоящему любят, и сами себя убеждают в этом. Но то — лишь приемыши, не плоть от плоти их духа. Пусто в сердце и слишком ясно в уме. За их шумною деятельностью в чужой среде, за их самоуверенной и часто самодовольной внешностью таится глухая тревога; их кипучая энергия — не из душевной полноты, а из душевного голода; их гонят фурии—безотчетный страх пустоты. Эту жажду опьянения я вижу отчасти и в сионизме. Но самообмана хватит ненадолго. Может быть уже внуки нынешних культурных евреев ясно ощутят леденящий холод в душе, и с каждым новым поколением будет острее недоумение и ненасытнее тоска. Еврейский Бог жесток. Он дал своему любимцу накопить в ковчаном ковчеге величайшее духовное богатство — такую высокую и крепкую религию, такую несокрушимую нравственность, каких не имел ни один народ. В те дни, как ни тяжка была жизнь, личность всегда оставалась в выигрыше, потому что народное богатство сторицей окупало всякий индивидуальный убыток. И в урочный час все отнял, —

разбил ковчег и рассыпал, испепелил, обесценил сокровище. Была безотчетная вера. в осмысленность жизни: бесценный вклад; ее не заменяет ни вера по Марксу и Геккелю, ни даже вера по Бергсону и Джемсу; было на земле благолепие быта: синагога и взаимное приветствие праздника, светлая чистота Пасхи, турбные звуки в Судный день и прежде всего, суббота; их вовеки не заменят театр и кинематограф, международная елка и обмирщенное воскресенье. Будет пустота и безнадежность, подобно тому, как бесприютный странник вспоминает свое далекое счастливое детство; будет бездомность духовная, как уже давно для евреев наступила мирская бездомность. Я говорю: будет, потому что уже началось. Таков последний завет ветхозаветного Бога еврею: «стань так же нищ духом, как телом!» Для чего нужна была эта страшная выучка, и куда ведет еврейство его народная воля, — кто скажет? Ученый умеет рассказать нам, как гусеница превращается в кокон и кокон в бабочку, но бесполезно спрашивать у него, зачем нужна бабочка в мире. Нам дано видеть только отрицательное дело еврейства — путь его освобождения, потому что только это дело совершается во внешних формах, доступных наблюдению. Но свобода никогда не бывает целью сама по себе. Последовательное освобождение еврейского духа без сомнения сопровождалось в какой-то глубине, недостижимой для взора, положительным творчеством, для которого оно было только средством; но плоды этого творчества незримы. Верно не без причины еврейство отрывалось от всех якорей и теперь обрывает последний. Мы уже теперь можем с уверенностью предвидеть: человек в еврействе станет нищ духом; не к этой ли цели стремится и все человечество. Разуверение началось не только для еврейства: тем же недоумением, той же нищетой разума и тоской заболевают ныне все горячие сердцем, чистые духом; и эта зараза будет шириться между людьми. Я думаю, все человечество идет одним путем; от природной бедности к накоплению, и затем снова к иной, уже добровольной нищете. Еврейство проходило этот путь с особенной, я сказал бы: прообразной стремительностью, не задерживаясь. Евреи были больше всех народов сыты своим Богом, оттого их голод будет всего жгуче. Может быть, они первыми и войдут в царство духовной свободы; может быть, последняя воля еврейства сказалась в словах, прозвучавших некогда из его глубины: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». — Они насытятся пищей, которой мир еще не вкушал, ибо все мирские ценности — как бутфорские яства.

Так я читаю по страницам истории метафизическую судьбу еврейства. Верен ли мой пересказ, или нет, — он имеет одно достоинство: из него нельзя сделать никакого практического употребления. Эта философия истории не связывает личность, а оставляет ее свободной. Я говорю: национальность в человеке — имманентная, стихийная, Божья сила; поэтому мы можем спокойно забыть о ней: она сама за себя постоит. В нашей душе борются две воли — личная и родовая: будь же личностью. Та, родовая воля несокрушима, — будь и ты, как кремень; только так высекается огонь. Кто есть еврей. — В ком действует народная воля еврейства. Как это узнать. — Этого нельзя узнать; Бог видит в глубину сердец. Но как должен жить еврей. — Согласно своему целостному личному влечению и руководствуясь в каждом деле существенными соображениями; тогда он будет жить всей полнотой своей, а национальная воля, действующая в нем, сама уклонит его шаги на должный путь. Ты любишь библейский язык? — Учись ему, говори на нем. Тебя влечет в Палестину? — Иди один; но не желай и не думай тем возродить еврейское царство. Взрослый народ не пеленают и не кладут в колыбель. А еврейское царство — не от мира сего.